

Валентин Распутин

Век живи — век люби

Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» — самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок — вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз; как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке... Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов, мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться — и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на

язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие», — в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло три дня — и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на Северном Байкале, и вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в

это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке... кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многое для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное,

как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками — самой неприятной работы. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом — он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читаная-перечитаная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застенные

шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой, могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрязнула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуясненный, но значительный смысл.

* * *

В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

— Сушишь?

— Сушу.

— Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и ответил:

— Ты корову теткой не зовешь?

— Зачем?

— То-то и оно... зачем?.. Митяй — кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, — Митяй, чего там... Не подавлюсь.

— А вообще-то как тебя зовут? — Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

— Митяй. Так и зовут. Хошь — спроси у моей мамаша, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола, — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. — Ежли бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хуже, тем милей. Это от него, от нечистого».

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы... У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно, — до

того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегая. Плакала моя ягодка».

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь

заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей — только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил» — были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду,

заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних походов Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом, — и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

— Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любим

способом взять, выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

— Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

— Не дойдешь, там останешься, — сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман. — Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь.